Виктор

Гюго

Гаврош
Козетта

Классика для школьников

Рекомендовано лучшими учителями

Ки

Виктор Мари Гюго

Гаврош. Козетта (сборник)

«АСТ»

1862

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)6-44

Гюго В.

Гаврош. Козетта (сборник) / В. Гюго — «АСТ», 1862

ISBN 978-5-17-102696-7

В книгу вошли избранные главы из романа «Отверженные» французского писателя Виктора Гюго (1802–1885).История маленькой Козетты, которую мать отдала на воспитание злому и жадному трактирщику Тенардье и его жене, не оставит равнодушными юных читателей. В чужом доме малышке Козетте было нелегко: живя впроголодь и донашивая старенькие вещи хозяйских дочерей, девочка выполняла самую тяжёлую и грязную работу. Каково же было удивление и недоумение маленькой девочки, когда однажды, под Рождество, какой-то незнакомец купил ей дорогую куклу, а в своём деревянном башмачке она нашла золотую монету!..Юный Гаврош – другой герой романа «Отверженные» – вырос на улицах Парижа. Город заменил ему родителей, братьев и сестёр, городские трущобы стали ему родным домом. Наравне со взрослыми юный Гаврош отважно сражается на баррикадах революционного Парижа.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)6-44

ISBN 978-5-17-102696-7

© Гюго В., 1862
© АСТ, 1862

Содержание

Козетта 6
Часть I 6
Книга четвёртая 6
Глава 1, 6
Глава 2 11
Глава 3 12
Часть II 15
Книга третья 15
Глава 1 15
Глава 2 17
Глава 3 20
Глава 4 21
Глава 5 22
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Виктор Гюго
Гаврош. Козетта

© Перевод Д.Г. Лившиц, насл., 2017
© Перевод Н.А. Коган, насл., 2017
© Перевод Н.Д. Эфрос, насл., 2017
© Перевод К.Г. Локса, насл., 2017
© Перевод М.В. Вахтеровой, насл., 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

Козетта

Часть I
Фантина[1]

Книга четвёртая

Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы

Глава 1,
в которой одна мать встречает другую мать

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопёков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалёвано что-то похожее на человека, который нёс на спине другого человека, причём на последнем красовались широкие золочёные генеральские эполеты с большими серебряными звёздами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Ватерлооский сержант».

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и брёвен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжёлое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Всё вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колёса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо – под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная пленённого Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир – Калибана.

Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того чтобы загородить ее, а во-вторых – чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на верёвочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный

[1] Перевод Д.Г Лившиц.

платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щёчки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – тёмные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окроплёнными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной верёвки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

– Так надо, – рыцарь говорил…

Поглощённая пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошёл к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

– Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребёнок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжёлый дорожный мешок.

Её ребёнок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у неё был чудесно розовый и здоровый. Щёчки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным её возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

Что касается матери, то она казалась печальной. Её убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у неё были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими,

если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза её, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у неё был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у неё на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребёнка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Её загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она всё ещё была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на её правой щеке. Что касается её наряда, её воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, – наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звёздочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается чёрная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для неё уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец её ребёнка уехал – увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, причём привычка её к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к её скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для неё закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне её научили только подписывать своё имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по её поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на её ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьёз таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своём ребёнке и не принимал всерьёз это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдётся кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у неё возникло неясное предчувствие новой разлуки, ещё более тяжкой, чем первая. Сердце её сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь – единственный оставшийся у неё повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала всё, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у неё осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках своё дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребёнка, а у этого ребёнка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.

Нам не придётся больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трёх до четырёх су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопёков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили её, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.

Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что, когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детёнышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.

И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:

– Так надо, – рыцарь повторил, —
Я уезжаю в Палестину.

Мамаша Тенардье была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь – на лице её лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишёнными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была ещё молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то её высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы её доверие, и тогда не случилось бы того, о чём нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив её.

Она работница; муж её умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идёт искать её в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребёнка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало – она ведь ещё такая крошка. Пришлось снова взять её на руки, и её сокровище уснуло.

Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила её. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть… На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то что мать удерживала её, соскользнула на землю

с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:

– Поиграйте втроем.

В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Эта гостья оказалась очень весёлой; весёлость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив её в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится весёлым, когда за него берется ребёнок.

Женщины продолжали беседу.

– Как зовут вашу крошку?

– Козетта…

Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

– Сколько ей?

– Скоро три.

– Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк – сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

– Как быстро сходится эта детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардье за руку, впилась в неё взглядом и сказала:

– Согласны вы оставить у себя моего ребёнка?

Тенардье сделала изумлённое движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.

Мать Козетты продолжала:

– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребёнком не найдёшь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

– Надо будет подумать, – ответила Тенардье.

– Я стала бы платить по шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:

– Не меньше семи франков. И за полгода вперёд.

– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.

– Я заплачу, – согласилась мать.

– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.

– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчёт всё той же песенкой:

– Так надо, – рыцарь говорил…

– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Мне ещё хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.

– Есть у девочки одёжа? – раздался снова мужской голос.

– Это мой муж, – сказала Тенардье.

– Разумеется, есть, у неё целое приданое, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И ещё какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шёлковые платьица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

– Вам придётся отдать всё это, – снова сказал мужской голос.

– А как же иначе! – удивилась мать. – Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

– Ладно, – сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребёнка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаяния.

Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:

– Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.

– А ведь я и думать об этом не думала, – ответила жена.

Глава 2
Беглая характеристика двух тёмных личностей

Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардье?

Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь зловещее пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа – прирождённая подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперёд, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, всё больше развращаясь и всё больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу.

В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете тёмные провалы в их прошлом и тёмные тайны в их будущем.

Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом – сержантом, как он говорил, – по-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В своё время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал её сам, так как с грехом пополам умел делать всё, – и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но всё более опошляясь и переходя от мль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартелеми-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял своё разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были её пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости, за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сантиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда её романтически спускающиеся локоны начали седеть, когда в Памеле проглянула мегера, Тенардье превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему её старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в её судьбе, произведённому появлением романа Дюкре-Дюминиля, она отделалась именем Азельма.

Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идёт речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если ещё существуют виконты – зовут Тома€, Пьером или Жаком. Это перемещение имён, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.

Глава 3
Жаворонок

Чтобы благоденствовать, еще недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.

Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы супругу Тенардье удалось избежать протеста векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственным образом. У неё не было теперь никакой одежды, и её стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря – в лохмотья. Кормили её объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были её постоянными

сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.

Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своём ребёнке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги из месяца в месяц. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она облагодетельствовала нас! Что для нас значат её семь франков?» И он написал ей, требуя двенадцать. Мать, которую они убедили, что её ребенок счастлив и «растёт отлично», покорилась и стала присылать по двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Печально думать, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той всё казалось, что это место отнято у её детей и что девочка ворует воздух, принадлежащий её дочерям. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у неё Козетты, её собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на её голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданьице! Она не имела ещё никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрёкам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от неё самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.

Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте – копия матери. Формат меньше, вот и вся разница.

Прошёл год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардье. Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардье, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребёнок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» всё растет и *ест*, и пригрозив отправить её к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! – восклицал он. – Не то я швырну ей назад её отродье и выведу на чистую воду все её секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить по пятнадцать франков.

Ребёнок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух других девочек; как только она немножко подросла – то есть едва достигнув пятилетнего возраста, – она стала служанкой в доме.

– В пять лет! – скажут нам. – Да ведь это неправдоподобно!

Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не знаем о недавнем процессе некоего Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал».

Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардье тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы ни за что не узнала своего ребёнка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех её движениях чувствовалась насторожённость. «Она себе на уме!» – говорили про неё Тенардье.

Несправедливость сделала её угрюмой, а нищета – некрасивой. От неё не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было ещё и шести лет, когда зимним утром, дрожа в старых дырявых обносках, с полными слёз глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке её прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое созданьице, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

Часть II
Козетта[2]

Книга третья

Исполнение обещания, данного умершей

Глава 1
Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням – и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелёными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие ещё не набрели на неё. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешёвый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.

За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжёлой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель, быть может, не забыл, – для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживлённо. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было ещё ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопёков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и весёлую струю жизни в эту

[2] Перевод Н.А. Коган.

глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трёхцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Caracara Polyborus; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трёхцветная кокарда – исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.

В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардье. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору среди горожан предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узорчатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг её пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:

– Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, – кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. – Как же так? Виноград-то ведь ещё не поспел? – В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. – Стало быть, это совсем слабое вино? – У них вина ещё послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зелёный.

И т. д.

Потом слышались выкрики мельника:

– Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копаться с ними нам недосуг, вот и приходится пускать всё как есть под жёрнов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.

В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

– Что трава сырая, беды никакой нет. Её даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но всё одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одетая в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардье. Под стульями играл котёнок. Из соседней комнаты доносились смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонина и Азельма.

В углу, возле печи, на гвозде висела плеть.

Порой пронзительный плач ребёнка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, – говорила она, – вероятно, из-за холода». Ему шёл четвёртый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докуч-

ными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». – «А ну его! Надоел он мне!» – отвечала мать. И покинутый ребёнок продолжал кричать в потемках.

Глава 2
Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардье приближалась к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил ещё некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардье. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала всё по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала – одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Её единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Всё дрожало при звуке голоса Тенардье: стекла, мебель, люди. Её широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У неё росла борода. Это был настоящий крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать её женщиной. Эта Тенардье являлась как бы сочетанием рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, – с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой – старый чёрный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Подобного рода разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду – прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внёс своё имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.

Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже – французом, в Брюсселе – бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его

слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечёт за собой неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей – муж, жена и дети – в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, не представляли всё же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.

В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснобай и выдавал себя за учёного. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них иногда орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитёр. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный жёлтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид – наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что при случае Тенардье не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют всё окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлён. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.

Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардье, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был её супруг. Она исполняла, он придумывал. Путём какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт повиновался. Для жены Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчёта, её муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу её поведение: никогда, даже если б и возникло у неё какое-либо разногласие с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чём бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жёны и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушие их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардье своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искажённой и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограни-

ченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажжённым светильником; в иные – она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была ужасным существом; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, её материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина – тот был поглощён только одной мыслью: разбогатеть.

Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.

Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году Тенардье имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных – предметом торговли, – иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, – толковал он ей однажды яростным шёпотом, – уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребёнка; ставить в счёт окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за всё, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, – омерзительный и ужасный союз.

В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далёких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнёт: её словно дробили мельничным жёрновом и терзали клещами. Муж и жена мучили её каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти – в этом виновата была жена; она ходила зимой босая – в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, тёрла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжёлую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.

Бедный ребёнок терпел всё и молчал.

Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?

Глава 3
Людям вино, а лошадям вода

Приехали ещё четыре новых путешественника. Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила её Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, тёмная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало её: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И всё же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребёнок, подняв голову, следил за её движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

– Вот тебе и на! – проговорила хозяйка. – Воды больше нет! – и помолчала.

Девочка затаила дыхание.

– Ба! – продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. – Хватит и этого.

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа ещё чувствовала, как сильно колотится у неё в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протёкшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошёл один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:

– Почему моя лошадь не поена?

– Как не поена? Её поили, – ответила Тенардье.

– А я вам говорю нет, хозяйка! – возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

– О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

– Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! – воскликнул торговец. – Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то её повадки отлично знаю.

Козетта настаивала на своём и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

– Пила, даже вволю пила.

– Хватит! – гневно возразил торговец. – Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!

Козетта залезла обратно под стол.

– Что верно, то верно, – сказала трактирщица, – если скотина не поена, то её следует напоить.

Она огляделась по сторонам:

– А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.

– Ну-ка вылезай! – крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

– Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!

– Но, сударыня, – робко возразила Козетта, – ведь больше нет воды.

Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:

– Так беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше её самой, девочка могла бы свободно поместиться в нём.

Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлёбку, кипевшую в кастрюле, отведала её и проворчала:

– Хватит ещё воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

– На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула её в этот карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придёт ли кто-нибудь на помощь.

– Ну, пошла живей! – крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

Глава 4
На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всём Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребёнку. Эпонина и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет да и взглядывала на неё.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла её. Бедное дитя замерло на месте. Козетта ещё не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла – сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, сча-

стье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, чёрную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую её от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели ещё куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим господом богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всём, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул её к действительности.

– Как! Ты все ещё тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! – кричала Тенардье, которая, выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

Глава 5
Малютка одна

Харчевня Тенардье находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопёков и вблизи церкви, её путь освещали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы громыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял её одиночество.

Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Всё же ей встретилась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идёт такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! – сказала она. – Да это Жаворонок!»

Таким образом, Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока её путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи – то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало её. Однако по мере того как она подвигалась вперёд, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почёсывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Тёмная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела всё пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! – воскликнула она. – Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почёсывать голову. Теперь представилась ей тётка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребёнок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди – призрак хозяйки, позади – все духи тьмы и лесов. И она отступила перед

хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.

Ночной шум леса охватил её со всех сторон. Она больше ни о чём не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой – пылинка.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.

Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окружённое мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьём и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за неё, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы её утроились. Нагибаясь над ручьём, она не заметила, как из кармашка её фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала её падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.

Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей ей надо было отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.

Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Над её головой небо было затянуто тяжёлыми тёмными тучами, напоминавшими дымные полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребёнком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, которая пугала её. Планета действительно в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.